

## ГЛАВА 5

### ВРАЖДУЮЩИЕ БРАТЬЯ: АРХЕТИПЫ РЕАКЦИИ НА НЕИЗВЕСТНОЕ

*Заражение аномалии угрозой смерти, сопровождающее развитие самосознания, бесконечно усиливает значимость неизвестного и делает столкновение с ним практически невыносимым. Это мотивировало развитие двух надличностных шаблонов поведения и схем представления, относящихся к человеку как таковому и воплощенных в мифологии в образе враждующих братьев или извечных сынов Божьих. Один из них — мифологический герой. Он соприкасается с неизвестным, изначально считая его благодатным и (недоказуемо) полагая, что это принесет обновление и искупление. Он добровольно вступает в творческий союз с Великой Матерью, строит или возрождает общество и приносит покой во враждующий мир.*

*Другой «сын Божий» — извечный враг героя. Этот дух необузданного разума ужасается тому, что невозможно до конца осмыслить законы бытия, и уклоняется от соприкосновения со всем, чего не понимает. Его личность больше не подпитывается живой водой, и это делает его жестким и деспотичным, поскольку он отчаянно цепляется за привычное, рациональное и стабильное. Его страх растет после каждого вероломного отступления, а новые защитные законы увеличивают разочарование, скуку и презрение к жизни. Его слабость в сочетании с невротическими страданиями порождает негодование и ненависть к самому существованию.*

*Личность противоборца проявляется в двух неразрывно связанных формах. Фашист жертвует собственной душой, которая позволила бы ему самостоятельно противостоять переменам, в пользу группы, которая обещает защитить его от всего неизвестного. Декадент, напротив, отказывается вступить в социальный мир и твердо придерживается*

*своих убеждений просто потому, что он слишком недисциплинирован, чтобы быть учеником. Фашист хочет раздавить все, что отличается, а потом вообще все; декадент приносит себя в жертву и возрождает фашиста из пепла. Кровопролитный двадцатый век — эпоха концентрационных лагерей — является ярким свидетельством стремлений противоборца и памятник его владычества.*

*Ловушек фашизма и декадентства можно избежать, отождествив себя с героем, с истинной личностью. Герой последовательно выстраивает единую иерархию условий существования в обществе и обязанностей собственной души. Он стоит на границе между порядком и хаосом и служит группе как творец и действующая сила обновления. Герой добровольно соприкасается с новизной и превращает неизвестное в нечто благое — в вечный источник силы и возможностей. Развитие такой силы, сопровождаемое верой, при исследовании обстоятельств жизни позволяет ему при необходимости оставаться вне группы и использовать ее как инструмент, а не как броню. Герой отвергает слияние с обществом как идеал существования и предпочитает следовать велению совести и сердца. Его отождествление со смыслом — и отказ пожертвовать им ради безопасности — делает жизнь приемлемой, несмотря на ее трагичность.*

## **ВВЕДЕНИЕ. ГЕРОЙ И ПРОТИБОБОРЕЦ**

*Культура, которую завещали нам предки, склонна к вырождению, так же как поток настоящего обесценивает статичные теории прошлого. Этот процесс ускоряют «грехи» человечества — добровольный отказ уделять внимание очевидным ошибкам и, как следствие, неспособность изменить поведение и отношение к происходящему. Когда мы так поступаем, возникающее раздражение со временем превращается в катастрофу и гнев богов изливается потоком на наши головы.*

Благодаря обобщениям, сделанным Р. Андриэ, Г. Узенером и Д. Д. Фрезером, хорошо известно, что миф о потоке распространен почти повсеместно; документальные свидетельства о нем имеются на всех континентах (хотя в Аф-

рике их меньше всего) и в различных культурах. Вариации этой истории, по-видимому, распространялись по миру сначала из Месопотамии, а затем из Индии. Не исключено также, что одна или несколько катастроф, вызванных потопом, легли в основу сказочных повествований. Но было бы рискованно объяснять столь популярный миф явлениями, геологических следов которых не найдено. Большинство рассказов об этом событии в некотором смысле составляют часть космического ритма: старый мир, населенный падшим человечеством, погружается под воду, и некоторое время спустя из водного «хаоса» возникает новый мир.

Во многих вариантах мифа потоп является следствием человеческих «грехов» (или ритуальных промахов); иногда его вызывает просто желание божественного существа покончить с человечеством. В месопотамской традиции причину потопа установить затруднительно. Некоторые намеки дают основание считать, что боги приняли это решение из-за «грешников». По другой традиции, гнев Энлиля был вызван невыносимым шумом, производимым людьми. Между тем, изучая мифы других культур, где речь идет о грядущем потопе, можно заметить, что главные его причины кроются *одновременно в человеческих грехах и в одряхлении мира*. Само существование Космоса — тот факт, что он *живет и производит*, — приводит к тому, что он постепенно деградирует и окончательно разрушается. По этой причине он должен быть сотворен вновь. Иначе говоря, потоп *реализует* в макрокосмическом масштабе то, что символически осуществляется в ходе новогоднего праздника: «конец света» и греховного человечества, делающий возможным новое творение<sup>462</sup>.

Ни одно обсуждение «архитектуры веры» не может считаться полным без упоминания о *зле*. Этот термин больше не популярен — он обычно считается старомодным и редко используется в обществе, которое теоретически избавилось от потребности в религии. Деяния, некогда определявшие как зло, теперь рассматриваются просто как следствие семейного либо общественного неблагополучия или экономических проблем (хотя эта точка зрения уже не так широко распространена, как

раньше). С другой стороны, необоснованные жестокость и разрушения считаются симптомами некоторой физиологической слабости или болезни. Злодеяния редко бывают добровольными или планомерными и совершаются кем-то одержимым эстетикой ужаса и боли как искусства.

В египетской космологии у Осириса — царя, мифического образа известного, Великого Отца — есть противоположность — бессмертный злой брат-близнец Сет, который в конечном итоге умертвляет его. Четыре тысячи лет спустя мораль этой великой истории так и не усвоена: неспособность понять природу зла ведет к его окончательной победе. По прошествии жестокого и кровопролитного XX века мы столкнулись не только с непониманием зла, но и с отрицанием самого его существования. А дьявол больше всего жаждет невидимости.

Я потратил много времени на описание сущности культуры и способа ее возникновения. Великий Отец защищает от ужасов неизвестного, помещает нас в священное пространство и не допускает туда ничего невыносимо чуждого. Культура порождается процессом, основные черты которого запечатлены во всепроникающих и повторяющихся мифах о герое, который добровольно встречается с драконом неизвестного, разрубает его на части и создает из них мир. Он тот, кто побеждает слишком долго правящего дряхлого тирана и освобождает из плена девственную мать. Такие мифы удивительно амбивалентны по своей природе: естественный мир бесконечно созидателен и разрушителен; единая социальная среда одновременно истязает и защищает. Однако до сих пор мы говорили о том, что герой одинок. Это означает, что наша история далека от завершения. Двойственность, характеризующая составные элементы опыта, распространяется и на человека. Он способен на темные мысли и разрушительные действия, так же как общество и природа.

Мифология придает общей характерной способности людей творить зло индивидуальные черты, подчеркивая соседство хаоса и порядка. Непримируемый противник героя — это темная личность, которая уклоняется от контакта с неизвестным или отрицает его существование, вместо того чтобы активно приближаться и исследовать; коварный «советник», ускоряющий распад, а не обновление общества. Его образ очень сложен, как и сам этот феномен. Он тщательно разрабатывался

на протяжении веков: правильное понимание природы зла пугает, и в некотором роде этот страх благотворен. Он намеренно заключается в повествование, в общую память человечества. Наверное, лучшим «плохим примером» здесь является фигура христианского дьявола. (Скрытое или явное) подражание ему ведет к катастрофе; истории, которые изображают его основные черты, можно рассматривать как поучение: они наглядно показывают последствия обиды, ненависти, всепоглощающего высокомерия и ревности.

Зло, как и добро, не статично: оно не означает простое нарушение правил и не является всего лишь агрессией, гневом, грубой силой, болью, разочарованием, тревогой или ужасом. В одном случае нечто является плохим, в другом — совершенно необходимым, и это очень усложняет жизнь. Как я уже отмечал ранее<sup>463</sup>, ответ на вопрос «что такое добро?» следует искать в так называемой метаобласти: более глобальная загадка — учитывая контекстно-обусловленную природу добра — заключается в том, каким образом закономерно появляются бесконечные ответы на вопрос «что такое добро?» Это качество превращается в совокупность обстоятельств, благодаря которым процветает нравственность, или представляет собой сам процесс ее формирования. К вопросу «что же тогда зло?» следует относиться аналогичным образом.

Зло — это неприятие и вечное противодействие процессу творческого исследования, гордое отрицание неизвестного и сознательный отказ понять, преодолеть и преобразовать мир общества. Кроме того (и как следствие), зло есть ненависть к добродетельным и мужественным людям именно за эти качества, а также желание распространить тьму из любви к тьме там, где может быть свет. Дух зла лежит в основе всех действий, которые ускоряют одряхление мира и питают желание Бога утопить и уничтожить все сущее.

Великое зло легко опознаваемо, по крайней мере по прошествии времени. Обычно оно является результатом действий другого (хотя бы при их истолковании). Мы воздвигаем бесчисленные памятники жертвам холокоста и клянемся никогда не забывать. Но что именно мы вспоминаем? Какой урок мы должны извлечь? Современники не знают, как произошел геноцид евреев, что шаг за шагом делали или не делали участвовавшие в нем люди, что подтолкнуло их на эти зверства.

Мы понятия не имеем, что или кто заставило немецкое общество совершать злодеяния. Как, например, Гитлер мог не поверить в свою правоту, когда все вокруг с радостью спешили исполнять его приказы? Разве не нужно обладать исключительной силой характера, чтобы устоять перед искушением абсолютной властью, свободно предложенной, дарованной народом или даже полученной благодаря настоятельному требованию? Как смог бы человек сохранить должную скромность в таких условиях? У большинства из нас есть личные недостатки, которые ограничиваются социальной средой. Окружающие люди сдерживают наши невротические наклонности. Из заботы они жалуются и протестуют, когда мы теряем самоконтроль и слишком далеко заходим в своей слабости. Если все вокруг думают, что вы спаситель, кто будет указывать на ваши ошибки и предостерегать? Это, разумеется, не оправдание Гитлера. Просто в нем было слишком много того, что присуще человеку. Что означает это утверждение? Гитлер был человеком, Сталин и Иди Амин — тоже. Так что же значит быть человеком?

Наши тиранические наклонности и нравственное разложение обычно проявляются в узких областях личной власти. Мы не можем обречь миллионы людей на смерть по собственной прихоти, потому что у нас нет для этого ресурсов. В отсутствие такой возможности мы лишь грубо обходим ближних и хвалим себя за нравственную добродетель. Мы прибегаем к агрессии и силе, чтобы подчинить зависимых людей своей воле, или используем болезнь и слабость, чтобы сыграть на соперничестве и обманом проложить тайный путь к господству. Если бы представилась такая возможность, сколько из нас *не стали бы* Гитлерами при наличии амбиций, преданности убеждениям и организаторского таланта (что крайне маловероятно)? Недостаток мастерства, однако, не является нравственной добродетелью.

Многие короли становились тиранами или погрязали в разврате, потому что они были *людьми*, и многие люди становились деспотами или морально разлагались. Мы не должны говорить «больше никогда», вспоминая о холокосте, потому что не понимаем этого явления, не понимаем самих себя, а вспомнить то, что не было понято, невозможно. Очень похожие на нас люди совершали зверства во время Второй мировой войны (сталинского режима или революции в Камбодже под

предводительством Пола Пота...). «Никогда не забывать» означает «познать себя» — признать и понять злого близнеца и смертельного врага, который является неотъемлемой частью каждого человека.

Склонность к героизму — архетипический спаситель — это вечный дух, то есть основной и постоянный аспект личности. То же самое верно и в отношении противоборствующей тенденции: способность к бесконечному отрицанию и желание заставить страдать за то, что некто или нечто посмело появиться на свет, является неискоренимым внутриспсихическим свойством человека. Великие драматурги и религиозные мыслители смогли это понять, по крайней мере неявно, и передать в рассказе и образе. Современные аналитики и теоретики-экзистенциалисты пытались абстрагировать эти заключения, перенести их на уровень «высшего сознания» и представить в логической и чисто семантической форме. Было собрано достаточно данных, чтобы создать убедительный портрет зла.

## ПОЯВЛЕНИЕ, ФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗА И ИЗОБРАЖЕНИЕ ПРОТИВОБОРЦА

*Фигура Сатаны, возможно, является наиболее четко сформированным представлением о зле, сохранившимся в религиозной и мифологической мысли. Хотя возникает соблазн отождествить этого «персонажа» с определенными человеческими качествами, например с агрессией — или с отличительными чертами незнакомца, — более реалистично рассматривать его как воплощение становления личности и общества. Дьявол — это дух, который лежит в основе развития тоталитаризма, характеризуется жесткими идеологическими убеждениями (рациональностью ума), использованием лжи как способа адаптации (отказом признать существование ошибки или рассмотреть необходимость отклонения) и неизбежным усилением ненависти к себе и окружающему миру. Каждая из этих характеристик имеет внутренние причины, которые неразрывно связаны друг с другом и могут быть точно осмыслены как собирательный и неизменный образ личности.*

*Дьявол — это сознательное неприятие процесса, который делает жизнь сносной, несмотря на трагические условия существования. Это отрицание отличается интеллектуальным высокомерием, поскольку любые условия зависят от контекста. Развитие самосознания заразило все смертью, но рамки глобального осмысления бытия все еще чрезвычайно узки. Настоящее, в привычном понимании, действительно невыносимо, но это толкование может измениться, если возможность изменения не будет отвергнута из-за деспотичной веры, самомнения и негодования.*

*Дьявол старается уничтожить мир, считая, что слабость и уязвимость делают его презренным. В прошлом веке он принес ужасные страдания в первую очередь тем культурам, которые отказывались воспринимать его образ. К великому счастью, мы выжили и не стали свидетелями необратимой трагедии. Но не следует закрывать глаза на опасность, которую таит имеющееся невежество или необходимость взять под контроль собственное «Я», которое мы плохо понимаем. Каждое техническое достижение увеличивает нашу силу, а рост силы повышает необходимость внутренней целостности и расширения самосознания.*

Знатная душа чтит сама себя<sup>464</sup>.

Чем глубже я вникал в проблему зла в течение последних четырнадцати лет, тем больше увлекался мифом о Сатане и интересовался, как эта история соотносится с западной мыслью. Образ дьявола оказал мощное влияние на развитие христианства и христианской культуры (и, следовательно, западного и мирового сообщества), хотя в Ветхом и Новом Завете на удивление мало прямых упоминаний о Сатане (есть лишь ограниченное и косвенное упоминание о восстании ангелов и войне на небесах, предшествующих созданию ада, но нет описания этого ада или существенной информации об ужасной загробной жизни, которая теоретически ожидает всех грешников).

Насколько я понимаю, традиционные и литературные представления о Сатане, правящем ангеле преисподней, составляют *подлинную мифологию*. Эти образы окружают устоявшиеся постулаты и устои христианства, как облако обволакивает гору. Они были переданы нам



отчасти в виде религиозной доктрины, отчасти как устное предание, отчасти благодаря усилиям Данте и Мильтона. В юности я получил довольно ограниченное религиозное образование. Все, что я когда-либо знал о дьяволе, было «слухами» — отрывками, которые я собирал, читая другие материалы (например, ужасающую проповедь иезуитов о возмездии за грехи из «Портрета художника в юности» Джойса). Я знал историю, в общих чертах изложенную Мильтоном: Сатана, высший ангел в небесной иерархии, желал уподобиться Всевышнему и поднял восстание на небесах. Он потерпел поражение, но не раскаялся и был низвергнут в ад, где он вечно правит душами умерших грешников. Я понятия не имел, что означает это предание, хотя для меня было очевидно, что его персонажи и события никогда не могли реально существовать.

Позже я узнал, что связь между Змеем в Эдеме и дьяволом была, по существу, умозрительной. В самом деле, некоторые гностики утверждали, что божество, приведшее Адама и Еву к свету самопознания, было высшим духом, а не бессознательным демиургом, изначально сотворившим мир. Эта теория была основана на признании того, что изгнание из рая — из так называемой предшествующей «области стабильности» — часто составляло необходимое предварительное условие для попадания в «более совершенное место». Похожую мысль развивали традиционные средневековые христианские деятели. Для них первородный грех был счастливой ошибкой, сделавшей необходимым появление Христа во плоти. То есть само по себе трагическое грехопадение можно считать благотворным, поскольку оно привело к искупительному появлению Бога (самому грандиозному историческому событию для христиан). Принятие этой более широкой точки зрения позволило истолковать даже образ Эдемского змея, который привел человечество к хаосу, как орудие благодетельного Бога, который бесконечно трудится, чтобы добиться совершенства мира, несмотря на отягчающее существование свободы воли и демонического искушения. (Имя Люцифер, в конце концов, означает «несущий свет», как уже упоминалось ранее. Я также знал, более или менее осознанно, что дьявол долгое время ассоциировался с силой и самонадеянностью рационального мышления, например, в «Фаусте» Гёте). Эта ассоциация позволила религиозным теоретикам занять антинаучную позицию, которая часто

опирается на параллель «наука → рационализм → дьявол», чтобы оправдать неуместное противостояние Церкви внезапно появившейся истине. Однако мифологическое предположение не может быть признано недействительным *как теория* из-за его неправильного применения. Способность к рациональному мышлению, без сомнения, *представляет собой* опасную и мощную силу, а условия, при которых мышление играет чисто разрушительную роль, до сих пор не вполне осмыслены.

Это множество смутно взаимосвязанных теорий и историй то и дело всплывало в моей памяти, иногда в сочетании с воспоминанием о символическом историческом акте — превращении Собора Парижской Богоматери в «Храм Разума» в разгар кровавой Великой французской революции. Нелегко прийти к ясному пониманию таких умозаключений, логически или эмоционально осмыслить их природу или даже определить, как они могут быть связаны. В конце концов, мы склонны сравнивать развитие «ясного понимания» с построением правильного множества и предполагать, что реальность вещи может быть четко установлена. Однако представления о зле образуют не правильное множество, а естественную категорию, которая содержит разнообразный материал — точно так же как понятия «известного» или «неизвестного». Еще больше усложняет ситуацию то, что зло — как и добро — не является чем-то статичным (хотя оно может отождествляться с застоем). Это скорее *динамичный процесс*, дух, который внушает несправедливые побуждения или чувства гордости, обиды, ревности и ненависти, но не может однозначно отождествляться с присутствием какого-либо из этих качеств или со всеми ими. Нравственность агрессии, например, зависит от контекста, в котором она проявляется, точно так же как значение этого слова определяется предложением, абзацем — даже книгой или культурным наследием, — в которых оно упоминается. Зло — это целый живой *комплекс*. Его сущность можно наиболее ясно понять, изучив образы, которые оно принимает в мифологии, литературе и фантазиях, сформировавшихся в ходе длительного исторического развития. Они состоят из метаатрибутов зла, которые сохранились, несмотря на драматические изменения особенностей человеческого бытия и нравственности.

Образ Дьявола — это форма, которую приняла сама идея зла, по крайней мере на Западе (хорошо это или плохо). Мы еще не разрабо-

тали четкой модели, которая позволила бы нам забыть, превзойти или как-то иначе обойтись без этого мифологического представления. Само понятие зла архаично (предположение, поистине смехотворное в наш век неопикуемых ужасов), и потому осмыслить его непросто. Мы невежественно и самодовольно высмеиваем древние предания, приравнивая их к детским выдумкам, которые лучше забыть. Это чрезвычайно высокомерная позиция. Нет никаких доказательств, что мы понимаем природу зла лучше, чем наши предки, несмотря на развитие психологии или на то, что технический прогресс сделал нас гораздо более опасными в состоянии одержимости. Наши предки, по крайней мере, постоянно изучали проблему зла. Например, принятие сурового христианского догмата первородного греха (несмотря на его пессимизм и очевидную несправедливость), во всяком случае, означало *признание зла*, некоторое понимание склонности к нему как неотъемлемой, наследуемой особенности человеческой природы. Если верить в первородный грех, наши действия и побуждения необходимо тщательно анализировать, даже если на первый взгляд они кажутся благими, чтобы вездесущие враждебные силы случайно не одержали верх. Догмат первородного греха заставляет каждого человека считать себя (потенциальным) источником зла и помещает вызывающий ужас мифологический подземный мир и его обитателей во *внутрипсихическое пространство*. Неудивительно, что эта мысль стала непопулярной, но тем не менее зло где-то существует. Трудно не замечать лицемерия в душах тех, кто хочет поместить его в другое место.

Как только я это понял, хотя бы приблизительно, древние убеждения начали сами по себе раскладываться по полочкам в моей голове. Читая Элиаде, я усвоил понятие «небесной иерархии». Монотеизм иудаизма и христианства уходит корнями в более древний политеизм. Более современное религиозное мышление превратило многочисленных богов, существовавших в архаичных представлениях, в единого Властелина в результате так называемого духовного соперничества. Эта битва идей с призывом к действию — абстрактная, образная борьба или реальное сражение — изображается в мифологии как *духовная война*, развернувшаяся на небесах (в том месте, где существуют надличностные представления). Божество, которое воцарилось над всеми, стало

единым Богом, обладающим сложным набором качеств и окруженным множеством ангелов и неземными «отголосками» божественных сил прошлого (общих и неизменных психологических процессов, обузданных в процессе эволюции человека).



Рис. 57. Дьявол как дух, витающий в воздухе, и нечестивый разум

Христианская мифология изображает Сатану как верховного ангела Небесного Царства. Это делает более понятной его связь с разумом, который вполне можно считать наиболее развитой и ценной психологической или духовной особенностью, присущей всем людям (и, следовательно, чем-то надличностным и вечным). *Рисунок 57* — это образное представление Эжена Делакруа, его иллюстрация к первой части «Фауста»<sup>465</sup>. Разум, высший из духов, страдает от величайшего

искушения: его способность к самопознанию (и самолюбованию) предполагает бесконечную склонность к гордыне, то есть приписыванию себе всеведения. Удивительные способности разума и признание этих способностей заставляют его поверить в то, что он обладает абсолютным знанием и поэтому может заменить Бога или обойтись без него:

Коварный Враг, низринутый с высот  
Гордыней собственной, вместе с войском  
Восставших Ангелов, которых он  
Возглавил, с чьей помощью Престол  
Всевышнего хотел поколебать  
И с Господом сравняться, возмутив  
Небесные дружины...<sup>466</sup>

Именно вера разума в свое всеведение, проявляющееся если не в слове, то в действиях и образе, «бессознательно» лежит в основе тоталитаризма в его многочисленных разрушительных обличьях. Фрай отмечает:

Демоническое падение, представленное Мильтоном, включает в себя вызов и соперничество с Богом, а не простое непослушание, и поэтому демоническое общество является устойчивой и систематизированной пародией на общество божественное. Его населяют дьяволы или падшие ангелы, его силы, кажется, простираются далеко за пределы обычных человеческих возможностей. Мы читаем об ангелах, восходящих и нисходящих по лестницам Иакова и Платона, а также о демонической поддержке безбожников, которая объясняет почти сверхчеловеческое величие языческих империй, особенно перед их падением.

В Ветхом Завете есть два особенно примечательных отрывка, связанных с этой темой: обличение Вавилона в Книге пророка Исаии и Тира в Книге пророка Иезекииля. Вавилон ассоциируется с Люцифером, утренней звездой, который сказал себе: «...буду по-

добен Всевышнему» (Ис. 14:14); Тир отождествляется с «Херувимом осеняющим» (Ис. 28:16), прекрасным созданием, живущим в Эдемском саду «доколе не нашлось [в нем] беззакония» (Ис. 28:15). В Новом Завете Иисус говорит о Сатане как о «спадшем с неба» (Лк. 10:18). Отсюда традиционное отождествление с Люцифером Исайи и его превращение в легендарного великого противоборца Бога, который считался князем ангелов и первенцем Божьим, до того как был низвергнут. Сверхчеловеческая демоническая сила, стоящая за языческими царствами, в христианстве носит имя Антихриста, земного правителя, требующего божественных почестей<sup>467</sup>.

Не так легко понять, почему предположение о всеведении истолковывается как прямо противоположное творческому исследованию (как противоборец героя). Однако «знание всего» означает — по крайней мере на практике — что неизвестного больше не существует и дальнейшее исследование стало излишним — ненужным по определению (и даже предательским). То есть абсолютное отождествление с известным неизбежно приходит на смену всякой возможности *познания*. Допущение возможности всеведения (основной грех рационального разума) на первый взгляд равноценно отрицанию героя — отвержению Христа, Слова Божьего, (божественного) *процесса*, посредника между порядком и хаосом. Высокомерие тоталитарной позиции неистребимо противостоит смирению творческого исследования. (*Смирение* — это постоянное признание ошибки и способности ее совершить — признание греховности и невежественности, — что позволяет распознавать неизвестное, а затем обновлять знания и менять поведение. Как это ни парадоксально, смирение — это проявление мужества, поскольку признание ошибки и способности ее совершить составляет необходимое условие для столкновения с новизной. Это делает *подлинную трусость* скрытой характеристикой тоталитарной самонадеянности: истинный деспот хочет, чтобы все непредсказуемое исчезло. Авторитарный человек защищается от осознания этой трусости с помощью патриотической пропаганды — зачастую в ущерб самому себе.)

В пятой книге «Потерянного рая», которую Мильтон построил на библейских и мифологических иносказаниях, Бог презрел Люцифера

в пользу второго сына — Христа<sup>468</sup>. Этот сдвиг в господствующей иерархии небес, как мне кажется, указывает на то, что разум (признавший себя высшим ангелом и стремящийся в одиночку породить искупление) должен подчиняться действиям героя-исследователя. Он может служить жизни, только когда играет *второстепенную* роль. Возможность править в аду, а не прислуживать на небесах, тем не менее, представляется привлекательной альтернативой для рационального ума в самых различных обстоятельствах.

Дьявол — это дух, который не перестает утверждать: все, что я знаю, есть все, что нужно знать; который влюбляется в свои прекрасные творения и, следовательно, не может видеть дальше них. Это желание быть правым раз и навсегда, а не постоянно признавать свою несостоятельность и невежество и, таким образом, участвовать в самом процессе творения. Это дух, который бесконечно отрицает, потому что, в конечном счете, он боязлив и слаб.

Именно отсутствие различия между существованием противника как *процесса* и аномалии как *составного элемента опыта* привело к некоторым вопиющим беззакониям христианства (и не только христианства). Дело всегда было в том, что «правильно» мыслящие люди постоянно путали существование угрозы их безопасности и нравственной целостности со злом. Они ассоциировали образ гения и незнакомца, которые предлагали нечто новое, противоположное установившейся вере, с процессом отвержения этого опыта. Такое неумение установить различия вполне понятно и оправданно. Понятно потому, что незнакомое/незнакомец/незнакомая мысль/революционный герой опрокидывает целый воз яблок и провоцирует взрыв эмоций (состояние, страстно желаемое дьяволом); оправданно потому, что ассоциация аномалии со злом позволяет «законно» избавиться от нее. Однако героическое обновление современной нравственности через поощрение соприкосновения с обременительным неизвестным создает хаос только ради установления высшего порядка. Тормозить этот процесс и «патриотично» цепляться за традицию — значит гарантировать, что эта традиция в какой-то момент стремительно рухнет (возможно, уже в недалеком будущем).

Похотливые или агрессивные помыслы (возьмем для примера то, что обычно не выставляют напоказ) не являются злом для благочестивого

христианина, в отличие от отрицания того, что эти помыслы существуют (или бездумно реализуются). Фантазия сама по себе является информацией, которая неприемлема с привычной точки зрения, но может преобразоваться в нечто иное, если это допустить. Существование мусульман и мусульманского мировоззрения также не является губительным для благочестивого христианина. Зло — это самонадеянность и всеведение — уверенность в том, что человек достаточно хорошо понимает свою веру, чтобы оправдывать необходимость противодействия незнакомцу и его убеждениям; уверенность в том, что отождествления со статичной уже постигнутой христианской нравственностью достаточно, чтобы гарантировать целостность личности и последующее невежественное и ханжеское преследование иноверцев. Дьявол — это не неудобный факт, а уклонения от этого факта. Слабость, глупость, вялость и невежество, которые составляют неотъемлемые качества личности, сами по себе не являются злом. Эти «недостатки» — лишь необходимые следствия ограничений, благодаря которым мы приобретаем опыт. Зло есть препятствие духовному росту и отрицание того, что глупость существует, раз она проявила себя, потому что в этом случае ее нельзя *преодолеть*. Сознание собственного невежества и алчности проявляется в стыде, тревоге и боли — в облике нежеланного, страшного гостя, — следовательно, такое сознание может считаться воплощением зла. Но именно тот, кто несет дурные вести, приближает нас к свету, если позволить ему проявить себя.

Недавно вышла книга Элейн Пейджелс «Происхождение Сатаны»<sup>469</sup>. В ней описывается, как убеждение в том, что дьявол — это вечный враг Христа, позволило христианам преследовать тех, кто не исповедует эту религию. Аргументы преследователя примерно таковы: дьявол — это враг, еврей не христианин, еврей — это враг, еврей — это дьявол. Пейджелс выдвигает вполне обоснованную и успешную гипотезу о том, что «изобретение» Сатаны было *мотивировано* желанием превратить преследование других в моральную добродетель. Однако исторический путь развития образа противоборца несколько сложнее. Надличностные представления о многослойности образа дьявола не могут возникнуть вследствие сознательного побуждения, потому что их развитие требует многовековой работы разных поколений (которую



нелегко «организовать»). Хотя этот образ бесконечно применяется, чтобы оправдать порабощение (поскольку все великие теории могут быть опровергнуты), он возник как следствие бесконечных талантливых попыток представить «личность» зла. Логика, которая связывает кого-то *другого* с дьяволом, присуща только тем, кто думает, что религия — это акт веры (набор статичных и часто необоснованных фактов), а не действие (метаподражание или воплощение творческого процесса в поведении). Существование должным образом изученной аномальной, непривычной мысли, воплощенной в чужой философии, есть *призыв к религиозному действию, а не зло*.

Человечество тысячи лет усердно работало, чтобы осознать природу зла — создать детальное драматическое представление о процессе намеренного причинения страданий, лежащем в основе плохой приспособляемости. Кажется преждевременным отбрасывать плоды этого труда или предполагать, что все не так, как есть на самом деле, прежде чем мы поймем реальный смысл происходящего. Осознание зла возникло сначала как ритуальное действие, затем как динамический образ, выраженный в мифе. Это представление охватывает обширную пространственно-временную территорию, исследование которой помогает получить более четкое понимание личности противоборца. Наиболее развитое архаическое олицетворение зла — вне иудеохристианской традиции — возможно, присутствует в зороастризме, который процветал в 1000—600 гг. до н. э. (и который, несомненно, обязан своим появлением гораздо более древним и менее ясным представлениям). Зороастрийцы выдвинули ряд теорий, которые позднее появились в христианстве, включая миф о Спасителе, разработку оптимистической эсхатологии, провозглашающей окончательный триумф добра и всеобщего спасения, и учение о воскресении тел...<sup>470</sup>

Заратустра, мифический основатель зороастризма, был последователем Ахурамазды (центрального божества этой монотеистической религии). Ахура («небо») Мазда был окружен пантеоном высокодуховных по своей природе (по крайней мере с современной точки зрения)<sup>471</sup> божественных *сущностей*, аналогичных ангелам, — *Амеша Спентой*. В их число входят: *Аша* (справедливость), *Воху Мана* (добрая мысль), *Армаити* (преданность), *Хшатра* (сила), *Хаурватат* (целостность)

и *Амеретат* (бессмертие). Ахурамазда был также отцом братьев-близнецов *Спента-Майнью* (благодетельный дух) и *Ангра-Майнью* (разрушающий дух). Элиаде пишет:

В начале всего, как гласит знаменитая гата («Ясна» 30 авторства Заратустры), эти два духа выбрали для себя: один — добро и жизнь, другой — зло и смерть. «В начале существования» Спента-Майнью заявляет Духу-Разрушителю: «Ни наши с тобой мысли, ни учения, ни способности; ни решения наши, ни слова, ни действия; ни совести наши, ни души не находятся в согласии». Очевидно, что эти духи — праведный и порочный — таковы скорее по собственному выбору, чем по природе.

Теологию Заратустры нельзя считать дуалистической в строгом смысле этого термина, ибо Ахурамазде не противопоставит никакой анти-Бог; вначале оппозиция возникает между двумя Духами. С другой стороны, по неоднократным указаниям можно понять, что Ахурамазда и Дух Святости [добрый дух] едины («Ясна» 43.3 и др.). Коротко говоря, и Добро и Зло, и святой дух, и демон разрушения исходят от Ахурамазды; но так как Ангра-Майнью по собственной воле избрал свое злодейское призвание и свой способ существования, то Премудрого Господа нельзя считать ответственным за появление Зла. С другой стороны, о том, какой выбор сделает Дух Разрушения, всеведущий Ахурамазда знал с самого начала, но не препятствовал ему; это может означать, что либо Бог превыше всех противоположностей, либо — что существование зла составляет предварительное условие существования человеческой свободы<sup>472</sup>.

Мифические враждующие братья-близнецы — Спента-Майнью и Ангра-Майнью, Осирис и Сет, Гильгамеш и Энкиду, Каин и Авель, Христос и Сатана — представляют две извечные характеристики личности сыновей Бога, героя и противоборца. Первый образ, архетипический спаситель, — это вечный дух творения и преобразования, который всегда признает неизвестное и, следовательно, продвигается к небесному царству. Его вечный противник, напротив, есть воплощение на практике, в воображении и в философии духа отрицания — вечный отказ от искупительного неизвестного и отсутствие гибкости самосознания. Мифы о враждующих братьях подчеркивают роль свободного выбора

в определении способа и смысла существования. Например, Христа (или Гаутаму Будду) постоянно и сильно искушают злом, но они предпочитают отвергать его. Ангра-Майнью и Сатана, напротив, принимают зло, упиваются им (несмотря на доказательства того, что оно порождает их собственные страдания). Выбор этих духов не может объясняться особыми условиями существования (поскольку они одинаковы, во всяком случае, для обоих сущностей) или капризами внутренней природы. Именно *добровольная готовность делать то, что, как известно, неправильно, несмотря на способность понимать это и избегать таких действий*, особенно точно характеризует зло — зло духа и человека. Бог Мильтона так говорит о вырождении Сатаны и человечества:

И со своим потомством совокупно  
Изменчивым — падет. По чьей вине?  
Ужели не по собственной? В удел  
Я все неблагодарному отвел,  
Чем он владеть способен; Я благим  
Его и чистым создал; волю дал  
Свободно Зло отвергнуть или пасть<sup>473</sup>.

Отказ от добра, я думаю, наиболее успешно и часто объясняется ужасными эмоциональными последствиями (само)сознания. Это означает, что понимание уязвимости и смертности человека, а также связанных с этим страданий — осознание крайней жестокости и бессмысленности бытия — может быть использовано в качестве *оправдания* зла. Жизнь *ужасна*, иногда кажется, что она *совершенно* невыносима: несправедлива, иррациональна, болезненна и бессмысленна. В таком свете само существование вполне может показаться чем-то изжившим себя с точки зрения разума. Мефистофель Гёте, князь лжи, так описывает свою философию (в первой части «Фауста»):

Я дух, всегда привыкший отрицать.  
И с основаньем: ничего не надо.

Нет в мире вещи, стоящей пощады.  
Творенье не годится никуда.  
Итак, я то, что ваша мысль связала  
С понятием разрушенья, зла, вреда.  
Вот прирожденное мое начало,  
Моя среда<sup>474</sup>.

Он слегка дорабатывает это утверждение во второй части произведения:

Конец? Нелепое словцо!  
Чему конец? Что, собственно, случилось?  
Раз нечто и ничто отождествилось,  
То было ль вправду что-то налицо?  
Зачем же созидать? Один ответ:  
Чтоб созданное все сводить на нет.  
«Все кончено». А было ли начало?  
Могло ли быть? Лишь видимость мелькала,  
Зато в понятие вечной пустоты  
Двусмысленности нет и темноты<sup>475</sup>.

Духовная реальность бесконечно проявляется в физическом мире (человек исполняет веления богов). Поэтому некоторые люди бессознательно воплощают мифологические темы. Это особенно заметно на примере великих личностей, когда игра высших сил становится практически осязаемой. Ранее<sup>476</sup> мы анализировали детали автобиографии Льва Толстого, используя его переживания как универсальный пример катастрофических эмоциональных последствий революционной аномалии. Идеологическая реакция Толстого на совершенно неожиданную информацию столь же архетипична. Новости из Западной Европы —

откровение о «смерти Бога» — каскадом обрушились на великого автора через имплицитные и эксплицитные культурно обоснованные убеждения. Он очень долгое время испытывал смятение чувств и воспринимал существование как хаос, в котором таилось великое искушение — отождествление с духом отрицания.

Толстой начинает очередной раздел своей исповеди аллегорией из одной восточной басни. Преследуемый диким зверем путешественник прыгает в старый колодец и хватается за растущую там виноградную лозу. На дне колодца сидит, разинув пасть, древний дракон. Наверху подстерегает ужасный зверь — пути назад нет. Человек цепляется за лозу, его руки слабеют, но он все еще держится. Вдруг он замечает двух мышей — черную и белую, — которые грызут спасительную ветку. Скоро она ломается, и путник отправится прямиком в глотку дракона. Тут несчастный видит несколько капель меда на листьях лозы, слизывает их и успокаивается. Для Толстого, однако, радости жизни утратили эту целебную сладость:

Не найдя разъяснения в знании, я стал искать этого разъяснения в жизни, надеясь в людях, окружающих меня, найти его, и я стал наблюдать людей — таких же, как я, как они живут вокруг меня и как они относятся к этому вопросу, приведшему меня к отчаянию.

И вот что я нашел у людей, находящихся в одном со мною положении по образованию и образу жизни.

Я нашел, что для людей моего круга есть четыре выхода из того ужасного положения, в котором мы все находимся.

Первый выход есть выход неведения. Он состоит в том, чтобы не знать, не понимать того, что жизнь есть зло и бессмыслица. Люди этого разряда — большею частью женщины, или очень молодые, или очень тупые люди — еще не поняли того вопроса жизни, который представился Шопенгауэру, Соломону, Будде. Они не видят ни дракона, ожидающего их, ни мышей, подтачивающих кусты, за которые они держатся, и лижут капли меда. Но они лижут эти капли меда только до времени: что-нибудь обратит их внимание на дракона и мышей, и — конец их лизанью. От них мне нечему научиться, нельзя перестать знать того, что знаешь.

Второй выход — это выход эпикурейства. Он состоит в том, чтобы, зная безнадежность жизни, пользоваться покамест теми благами, какие есть, не смотреть ни на дракона, ни на мышей, а лизать мед самым лучшим образом, особенно если его на кусте попало много. Соломон выражает этот выход так:

«И похвалил я веселье, потому что нет лучшего для человека под солнцем, как есть, пить и веселиться: это сопровождает его в трудах во дни жизни его, которые дал ему бог под солнцем.

Итак, иди ешь с веселием хлеб твой и пей в радости сердца вино твое... Наслаждайся жизнью с женщиною, которую любишь, во все дни суетной жизни твоей, во все суетные дни твои, потому что это — доля твоя в жизни и в трудах твоих, какими ты трудишься под солнцем... Все, что может рука твоя по силам делать, делай, потому что в могиле, куда ты пойдешь, нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости».

Этого второго вывода придерживается большинство людей нашего круга. Условия, в которых они находятся, делают то, что благ у них больше, чем зол, а нравственная тупость дает им возможность забывать, что выгода их положения случайна, что всем нельзя иметь 1000 женщин и дворцов, как Соломон, что на каждого человека с 1000 жен есть 1000 людей без жен, и на каждый дворец есть 1000 людей, в поте лица строящих его, и что та случайность, которая нынче сделала меня Соломоном, завтра может сделать меня рабом Соломона. Тупость же воображения этих людей дает им возможность забывать про то, что не дало покоя Будде, — неизбежность болезни, старости и смерти, которая не нынче — завтра разрушит все эти удовольствия. То, что некоторые из этих людей утверждают, что тупость их мысли и воображения есть философия, которую они называют позитивной, не выделяет их, на мой взгляд, из разряда тех, которые, не видя вопроса, лижут мед. И этим людям я не мог подражать: не имея их тупости воображения, я не мог ее искусственно произвести в себе. Я не мог, как не может всякий живой человек, оторвать глаз от мышей и дракона, когда он раз увидал их.

Третий выход есть выход силы и энергии. Он состоит в том, чтобы, поняв, что жизнь есть зло и бессмыслица, уничтожить ее. Так

поступают редкие сильные и последовательные люди. Поняв всю глупость шутки, какая над ними сыграна, и поняв, что блага умерших паче благ живых и что лучше всего не быть, так и поступают и кончают сразу эту глупую шутку, благо есть средства: петля на шею, вода, нож, чтоб им проткнуть сердце, поезды на железных дорогах. И людей из нашего круга, поступающих так, становится все больше и больше. И поступают люди так большею частью в самый лучший период жизни, когда силы души находятся в самом расцвете, а унижающих человеческий разум привычек еще усвоено мало. Я видел, что это самый достойный выход, и хотел поступить так.

Четвертый выход есть выход слабости. Он состоит в том, чтобы, понимая зло и бессмысленность жизни, продолжать тянуть ее, зная вперед, что ничего из нее выйти не может. Люди этого разбора знают, что смерть лучше жизни, но, не имея сил поступить разумно — поскорее кончить обман и убить себя, чего-то как будто ждут. Это есть выход слабости, ибо если я знаю лучшее и оно в моей власти, почему не отдаться лучшему?.. Я находился в этом разряде.

Так люди моего разбора четырьмя путями спасаются от ужасного противоречия. Сколько я ни напрягал своего умственного внимания, кроме этих четырех выходов, я не видал еще иного<sup>477</sup>.

Разум Толстого — его рациональность — не видел решения дилеммы, возникшей из-за появления «неперевариваемой» мысли. Более того, логика ясно диктовала, что существование, характеризующееся лишь неизбежным и бессмысленным страданием, следует резко оборвать, словно злую шутку. Толстой ясно видел бесконечный конфликт человека с условиями его бытия. Это подорвало желание писателя жить и работать. Он не понимал (по крайней мере, на этом этапе пути), что люди созданы для того, чтобы постоянно противостоять хаосу — вечно стараться преобразовать его в реальное бытие, — вместо того чтобы раз и навсегда овладеть им (и сделать все нестерпимо статичным).

Присутствие смертельной уязвимости — этой определяющей характеристики человека и причины возникающего отвращения к жизни — может стать еще более невыносимым, если видеть конкретные примеры

этого состояния. Кто-то всегда беднее, слабее и уродливее других — все люди в чем-то менее совершенны (а некоторые, по-видимому, ущербны во всех отношениях). Признание очевидно произвольного распределения умений и достоинств добавляет дополнительные рационально оправданные основания для формирования философии негодования и антипатии — иногда у целого класса людей, иногда у отдельной личности. В таких обстоятельствах желание отомстить самой жизни может стать превыше всего, особенно у несправедливо угнетенных. Шекспировский искалеченный Ричард Третий говорит от имени всех революционеров и мятежников, испытывающих такие побуждения:

Раз небо мне дало такое тело,  
Пусть ад и дух мой также искривит.  
Нет братьев у меня — не схож я с ними;  
И пусть любовь, что бороды седые  
Зовут святой, живет в сердцах людей,  
Похожих друг на друга, — не во мне.  
Один я<sup>478</sup>.

Зло — это добровольный отказ от процесса, который делает существование терпимым и оправдывает наблюдение за тяготами жизни. Это отрицание является самонадеянным и преждевременным, потому что предварительное решение принимается как окончательное: все недостаточно и потому не имеет ценности — и исправить ситуацию невозможно. Такое суждение не оставляет ни единого шанса на исцеление. Отсутствие веры в надежду и смысл (которые, кажется, уже совсем готовы исчезнуть под напором обоснованной критики) редко означает параллельное отсутствие веры в тревогу и отчаяние (даже если признание бессмысленности всего сущего должно подорвать представления о муках). Однако не верить в страдание невозможно: отказ от процесса, который постоянно обновляет положительные стороны составных элементов опыта, гарантирует лишь то, что их отрицательные аналоги одержат верх. Новая попытка, в дополнение к той, что сама по себе вызывает



ненависть к жизни, несомненно, породит того, кто станет подстрекать на поступки похуже самоубийства. Таким образом, становление противоборца идет предсказуемым путем: от гордыни («Гордыней обуян и честолюбьем гибельным, дерзнул восстать»<sup>479</sup>), через зависть, к мести<sup>480</sup>, завершающей образ человека, одержимого бесконечной ненавистью и завистью:

...к Добру

Стремиться мы не станем с этих пор.

Мы будем счастливы, творя лишь Зло,

Его державной воле вопреки.

И если Провидением своим

Он в нашем Зле зерно Добра взрастит,

Мы извратить должны благой исход,

В Его Добре источник Зла сыскав<sup>481</sup>.

Нигилизм Толстого — отвращение к человеку и обществу в сочетании со стремлением к искоренению бытия — это одно из логических жестоких последствий обостренного самосознания. Однако это не единственное и, возможно, даже не самое тонко подмеченное проявление зла. Гораздо хуже усиленное отождествление с традицией и обычаем (к тому же оно более скрыто от самого антигероя и его ближайшего окружения). Злодей надевает маску патриотизма, чтобы облегчить переход государственной власти к политике разрушения. Ницше осмыслил это следующим образом:

Определение морали: мораль — это идиосинкразия декадентов, с задней мыслью отомстить жизни — и с успехом. Я придаю ценность этому определению<sup>482</sup>.

Такое описание первоначального мотивированного решения и последующего распада представляется мне более точным и убедительным, чем любая из созданных до сих пор чисто научных теорий

психопатологии, характеризующих процессы и раздвоенное конечное состояние нравственного (и, следовательно, духовного) вырождения. Конечно, в настоящее время мы не можем достаточно серьезно относиться к исключительно рациональному восприятию собственной личности, чтобы предполагать наличие связи между злом как космической силой и мелкими проступками людей, которые предают сами себя. Люди считают, что они проявляют должную скромность, уменьшая масштабы и значимость ошибок. По правде говоря, они просто не желают нести бремя подлинной ответственности.

## Противоборец в действии: добровольное уничтожение карты смысла

У кого есть основание *отречься от действительности*, оклеветав ее?

У того, кто от нее *страдает*<sup>483</sup>.

Трагическая встреча с силами неизвестного неизбежна в ходе нормального развития, учитывая продолжающееся развитие сознания. Даже принятие культурного канона, который присутствует в обществе, не может обеспечить нам окончательной защиты. Внезапное столкновение с трагедией неразрывно связано с возникновением самосознания, мифическим следствием (виртуальным эквивалентом) которого становится обостренное понимание нашей ограниченности. Оно воплощается в стыде (мифологическом познании наготы), который доказывает уязвимость и слабость людей при соприкосновении с окружающим миром.

Внутренняя природа человеческого опыта гарантирует постоянное присутствие мощного побуждения к обманчивой адаптации. В конце концов, именно встреча с чем-то *действительно ужасным* внушает страх и заставляет убегать. Склонность людей прятаться в ложных укрытиях зачастую вызывает сочувствие и понимание. Взросление — пугающий процесс. Переход от райского матриархального мира детства к падшему патриархальному существованию в обществе чреват опасностями, не говоря уже о тех бедах, которые поджидают человека после ученичества.